

Введение

Вводные замечания

Гёте некогда написал:

Ein grober Vorsatz scheint im Anfang toll;
Doch wollen wir des Zufalls künftig lachen,
Und so ein Hirn, das trefflich denken soll,
Wird künftig auch ein Denker machen¹.

Вопрос этот не потерял остроты. Напротив, с каждым новым шагом науки он, меняя формулировки, воскресает снова и снова. Однако на этом пути есть существенное препятствие: мы не можем удовлетворительно объяснить, что же такое этот самый интеллект, искусственно создавать который мы собираемся. Невольно приходит на память эпизод, рассказанный в мемуарах Андрея Белого. Отец его — профессор-математик, председатель Московского математического общества Н. В. Бугаев — однажды вел научное заседание, «где читался доклад об интеллекте животных. Отец, председатель, прервал референта вопросом, знает ли он, что такое есть интеллект; обнаружилось: ре-

¹ Нам говорят «безумец» и «фантаст»,
Но, выйдя из зависимости грустной,
С годами мозг мыслителя искусный
Мыслителя искусственно создаст.

(Перевод Б. Пастернака; цит. по: *Гёте И. В. Собр. соч.*:
В 10 т. М., 1977. Т. 5. С. 359).

ферент не знает; тогда отец начал спрашивать сидящих в первом ряду:

— Вы? — Вы?

Никто не знал. Отец объявил: „Ввиду того что никто не знает, что есть интеллект, не может быть и речи об интеллекте животных. Объявляю заседание закрытым“¹.

Хотя описанный инцидент происходил в начале нашего века, положение в этой области мало изменилось. Причина, как кажется, в том, что интеллектуальная деятельность рассматривается обычно как уникальная способность человека. А изолированный, вне любых сопоставлений стоящий объект не может быть предметом науки. Задача, таким образом, сводится к обнаружению ряда «мыслящих объектов», сопоставление с которыми позволило бы выделить некоторый инвариант интеллектуальности. Понятие интеллекта многоаспектно, и пишущий эти строки не чувствует себя способным дать ему исчерпывающее определение. Однако если ограничиться семиотическим аспектом, то задача эта представляется решимой.

Определяя с этой точки зрения интеллектуальную способность, можно свести ее к следующим функциям:

1. Передача имеющейся информации (текстов).
2. Создание новой информации, то есть создание текстов, не выводимых однозначно по заданным алгоритмам из уже имеющихся, а обладающих определенной степенью непредсказуемости.
3. Память: способность хранить и воспроизводить информацию (тексты).

Изучение семиотических систем, созданных человеком на протяжении его культурной истории, привело к неожиданным выводам о том, что эти же

¹ Белый А. На рубеже двух столетий. Воспоминания. 2-е изд. М.; Л., 1931. С. 71–72.

функции в той или иной мере свойственны и семиотическим объектам. И если в текстах коммуникативного свойства превалирует функция передачи информации, то в создаваемых искусством художественных — вперед выступает способность генерировать новые сообщения. При этом было установлено, что минимальной работающей семиотической структурой является не один искусственно изолированный язык или текст на таком языке, а параллельная пара взаимно непереводимых, но, однако, связанных блоком перевода языков. Такой механизм является минимальной ячейкой генерирования новых сообщений. Он же — минимальная единица такого семиотического объекта, как культура. Таким образом, культура оказывается двуединой (минимально) и одновременно неразложимо-единой минимальной работающей семиотической структурой. Такой подход выдвинул понятие семиосферы и подчеркнул важность изучения семиотики культуры.

Одновременно оказалось возможным определить семиотические объекты этого рода как «мыслящие структуры», поскольку они удовлетворяют сформированным выше признакам интеллекта. То, что они для своей «работы» требуют интеллектуального собеседника и текста «на входе», не должно нас смущать. Ведь и абсолютно нормальный человеческий интеллект, если он от рождения полностью изолирован от поступления текстов извне и какого-либо диалога, остается нормальной, но не запущенной в работу машиной. Сам собой он включиться не может. Для функционирования интеллекта требуется другой интеллект. Л. С. Выготский подчеркивал: «Первоначально всякая высшая функция была разделена между <...> двумя людьми, была взаимным психологическим процессом»¹. Интеллект — всегда собеседник.

¹ *Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. М., 1982. Т. 1. С. 115.*

Наблюдения относительно биполярной асимметрии семиотических механизмов неожиданно для нас получили параллель в исследованиях функциональной асимметрии больших полушарий головного мозга. Наличие в индивидуальном мыслительном аппарате механизмов, функционально изоморфных семиотическим механизмам культуры, открывало новые научные перспективы. Вопрос о соприкосновении гуманитарной семиотики и нейрофизиологии оказался для многих неожиданным, но встретил горячую поддержку гениального лингвиста Р. О. Якобсона, который называл врагов этой проблематики защитниками «безмозглой лингвистики». В Советском Союзе проблемы эти активно разрабатывались в нейрофизиологической лаборатории покойного Л. Я. Балонова (в сотрудничестве с В. Л. Деглиным, Т. В. Черниговским, Н. Н. Николаенко и др.), а в семиотическом аспекте — Вяч. Вс. Ивановым.

Однако вопрос этот выводил к еще более общей научной проблеме — отношению симметрии и асимметрии, волновавшей еще Л. Пастера.

Вопрос же о необходимости для «мыслящих» семиотических структур получить начальный импульс от другой мыслящей структуры, а текстогенерирующим механизмам — получить в качестве пускового механизма некий текст извне заставляет вспомнить, с одной стороны, о так называемых автокаталитических реакциях, то есть реакциях, когда для получения конечного продукта (или для ускорения протекания химического процесса) необходимо, чтобы конечный результат уже присутствовал в каком-то количестве в начале реакции. С другой стороны, вопрос этот находит параллель с нерешенной проблемой «начала» культуры и «начала» жизни. Вспомним, что В. И. Вернадский отказывался отвечать на так поставленный вопрос, считая более плодотворными исследования взаимоотно-

шения бинарно-асимметричных и вместе с тем единых структур. По этому пути идем и мы.

В соответствии с выделенными нами тремя функциями семиотических объектов мы делим изложение на три части. В первой рассматривается механизм смыслопорождения в результате взаимного напряжения таких взаимонепереводимых и одновременно проецируемых друг на друга языков, как конвенциональный (дискретный, словесный) и иконический (континуальный, пространственный). Этому соответствует минимальный акт выработки нового сообщения. Второй раздел посвящен семиосфере — синхронному семиотическому пространству, заполняющему границы культуры и являющемуся условием работы отдельных семиотических структур и, одновременно, их порождением. Если в центре первого раздела стоит *текст*, то соответствующее место во втором занимает *культура*. Третий раздел посвящен вопросам памяти, диахронии глубины и истории как механизма интеллектуальной деятельности. Основной вопрос здесь — *семиотика истории*.

В целом эти три раздела призваны показать работу обволакивающего человека и человеческое общество семиотического пространства как интеллектуального мира, находящегося в постоянном взаимном общении с индивидуальным интеллектуальным миром человека.

После Соссюра

В последние десятилетия семиотика и структурализм как в Советском Союзе, так и на Западе пережили период испытаний. Правда, испытания эти имели разный характер. В Советском Союзе им пришлось

пережить период гонений и идеологических обвинений, который сменился в официальной науке заговором молчания или стыдливым полупризнанием. На Западе эти научные направления подверглись испытанию модой. Увлечение ими было широким и выходило за пределы науки. Однако ни преследования, ни мода, столь важные в глазах посторонней публики, не оказывают определяющего влияния на судьбы научных идей. Здесь решающее слово принадлежит глубине самих этих концепций. Глубина же и значительность научных идей определяется, во-первых, их способностью объяснять и соединять воедино факты, до этого остававшиеся разрозненными и необъяснимыми, то есть сочетаться с другими научными концепциями, и, во-вторых, обнаруживать проблемы, требующие решения, в частности, там, где предшествующему взгляду все казалось и так ясным. Эта вторая особенность означает сочетаемость с *будущими* научными концепциями. Следовательно, долгую научную жизнь имеют те идеи, которые способны, сохраняя свои исходные положения, переживать динамическую трансформацию, эволюционировать вместе с окружающим их миром.

Говоря о семиотике сейчас, в конце XX в., следует иметь в виду три различных ее аспекта. В первом она являет собой *научную дисциплину*, предсказанную еще Ф. Соссюром. Это область знания, объектом которого является сфера знакового общения: «...можно представить себе науку, изучающую жизнь знаков в рамках жизни общества; такая наука явилась бы частью социальной психологии, а следовательно и общей психологии; мы назвали бы ее *семиологией*...»

Рассмотрение языка как одной из семиотических систем, утверждал Соссюр, ляжет в основу всех социальных наук: «Благодаря этому не только прольется свет на проблемы лингвистики, но, как мы полагаем,

при рассмотрении обрядов, обычаев и т. п. как знаков все эти явления также выступят в новом свете, так что явится потребность объединить их все в рамках семиологии и разъяснить их законами этой науки»¹.

Во втором аспекте семиотика предстает перед нами как *метод* гуманитарных наук, проникающий в различные дисциплины и определенный не природой объекта, а способом его анализа. С этой точки зрения один и тот же научный объект допускает и семиотический, и несемиотический подход. Достаточное количество примеров может доставить та же лингвистика.

Наконец, третий аспект лучше всего определить как своеобразие научной психологии исследователя, склад его познающего сознания. Подобно тому как кинорежиссер привыкает смотреть на окружающий мир сквозь пальцы, сложенные по форме кадра и «вырезающие» из целостного пейзажа отдельные куски, исследователь-семиотик привычно преобразует окружающий его мир, высвечивая в нем семиотические структуры. Все, к чему прикасается своей золотой рукой царь Мидас, обращалось в золото. Подобно этому все, привлекающее внимание исследователя-семиотика, семиотизируется в его руках. Это связано с воздействием описывающего на описываемый объект, о чем речь пойдет в дальнейшем.

Эти три аспекта в своей совокупности составляют область семиотики.

Бросая ретроспективный взгляд на путь, проделанный семиотикой с того момента, когда она, в значительной мере благодаря усилиям Р. О. Jakobsona, с одной стороны, и общему направлению мысли — с другой, привлекла во второй половине 1950-х гг. широкое внимание, можно определить ведущие тенден-

¹ Соссюр Ф. Труды по языкознанию / Пер. с фр. под ред. А. А. Холодовича. М., 1977. С. 54–55.

ции словами: продолжение и преодоление. Это относится и к наследию русского формализма, и к работам М. М. Бахтина или В. Я. Проппа. Но в наибольшей мере это относится к наследию Соссюра, чьи труды и после критики Р. О. Якобсона, противопоставлявшего швейцарскому ученому идеи Чарльза Пирса, остаются мощными блоками в фундаменте семиотики.

Из идей Соссюра в интересующем нас аспекте имеет смысл выделить следующие:

— противопоставление языка (*la langue*) и речи (*la parole*) [*resp.* кода и текста];

— противопоставление синхронии и диахронии.

Оба эти противопоставления имели для Соссюра самый фундаментальный характер. Язык — «...это грамматическая система, виртуально существующая у каждого в мозгу, точнее сказать, у целой совокупности индивидов, ибо язык не существует полностью ни в одном из них, он существует в полной мере лишь в коллективе.

Разделяя язык и речь, мы тем самым отделяем: 1) социальное от индивидуального; 2) существенное от побочного и более или менее случайного».

Исходя из этих предпосылок, Соссюр формулировал главенствующее положение языка как в речевом акте, так и в лингвистической науке:

«1. Язык есть нечто вполне определенное в разнородном множестве фактов речевой деятельности. (...) Он представляет собою социальный аспект речевой деятельности, внешний по отношению к индивиду, который сам по себе не может ни создавать его, ни изменять. Язык существует только в силу своего рода договора, заключенного членами коллектива (...).

2. Язык, отличный от речи, составляет предмет, доступный самостоятельному изучению. Мы не говорим на мертвых языках, но мы отлично можем овладеть их механизмом. Что же касается прочих элементов рече-

вой деятельности, то наука о языке вполне может обойтись без них; более того, она вообще возможна лишь при условии, что эти прочие элементы не примешаны к ее объекту»¹.

Не менее фундаментальный характер имело и второе из выделенных нами противопоставлений. Именно синхронии приписывался структурный характер, и она оказывалась носителем реляционных отношений, составляющих сущность языка. Синхрония гомостатична, а диахрония представляет собой перечень внешних и случайных ее нарушений, реагируя на которые синхрония восстанавливает свою целостность: «Язык есть система, все части которой могут и должны рассматриваться в их синхронической взаимообусловленности.

Изменения никогда не происходят во всей системе в целом, а лишь в том или другом из ее элементов, они могут изучаться только вне ее». «В диахронической перспективе мы имеем дело с явлениями, которые не имеют никакого отношения к системам, хотя и обуславливают их». Язык противостоит всему случайному, текучему, внесистемному: «Язык есть механизм, продолжающий функционировать, несмотря на повреждения, которые ему наносятся»².

Идеи эти нельзя отделить от всего здания современной семиотики. Отказаться от них означало бы вырвать краеугольные камни из ее фундамента. Но именно на их примере видно, каким глубоким трансформациям подверглись и основные положения, и весь облик здания семиотики во второй половине XX в.³

¹ Соссюр Ф. Труды по языкознанию. С. 52–53.

² Соссюр Ф. Труды по языкознанию. С. 118–120.

³ В работе над этой книгой мне помогала научная атмосфера, созданная моими коллегами в Тартуском университете, мои слушатели и друзья, и особенно З. Г. Минц и Л. Н. Киселева. Всем им — горячая благодарность.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

*Текст как
смыслопорождающее
устройство*

Три функции текста

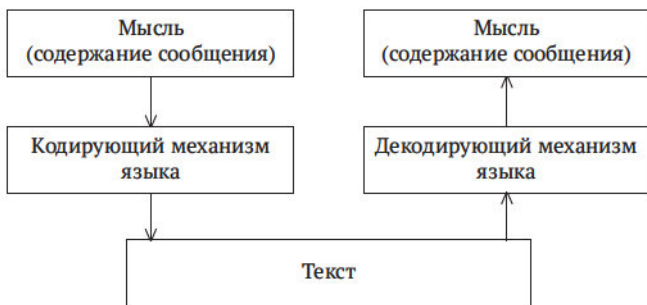
В системе, разработанной Соссюром и надолго определившей направление семиотической мысли, очевидно предпочтение исследованиям языка, а не речи, структуры кода, а не текста. Речь и ее отграниченная артикулированная ипостась — текст — интересуют лингвиста лишь как сырой материал, манифестация языковой структуры. Все, что релевантно в речи (*resp.* тексте), дано в языке (*resp.* коде). Элементы, присутствующие в тексте, но не имеющие соответствия в коде, носителями смысла не являются. Этому соответствует решительное заявление Соссюра: «Надо с самого начала встать на почву языка и считать его нормой для всех прочих проявлений речевой деятельности»¹. Принять язык за норму означает сделать его точкой научного отсчета в определении существенного и несущественного для языковой деятельности. Естественно, что все, не имеющее соответствия в языке (коде), при дешифровке сообщения «снимается». После того как из руды речи выплавлен металл языковой структу-

¹ Русский перевод (см.: Соссюр Ф. Труды по языкознанию. С. 47) дает: «считать его основанием (попте)». Думается, что это сдвигает смысл французского оригинала (см.: Saussure F. de. Cours de linguistique générale / Ed. critique préparée par T. de Mauro. Paris, 1962. P. 25).

ры, остается только шлак. Именно в этом смысле наука о языке может обойтись без анализа речи.

Но за этой научной позицией стоит целый комплекс прямо не выраженных, почти бытовых представлений о функции языка. Если ученого-лингвиста интересует структура языка, извлекаемая из текста, то бытового получателя информации занимает содержание сообщения. В обоих случаях текст выступает как нечто, ценное не само по себе, а лишь в качестве своего рода упаковки, из недр которой извлекается объект интереса.

Для получателя сообщения представляется естественной такая логическая последовательность:



Конечно, следовало бы вспомнить предостережение Э. Бенвениста. Он указывал, что из факта неосознанности производимых нами языковых операций и из того, что «мы можем сказать все, что угодно», «...проистекает то широко распространенное (...) убеждение, будто процесс мышления и речь — это два различных в своей основе рода деятельности, которые соединяются лишь в практических целях коммуникации, но каждый из них имеет свою область и свои самостоятельные возможности; причем язык предоставляет разуму средства для того, что принято называть выражением мысли».

И далее: «Конечно, язык, когда он проявляется в речи, используется для передачи „того, что мы хотим сказать“. Однако явление, которое мы называем „то, что мы хотим сказать“, или „то, что у нас на уме“, или „наша мысль“, или каким-нибудь другим именем, — это явление есть содержание мысли; его весьма трудно определить как некую самостоятельную сущность, не прибегая к терминам „намерение“ или „психическая структура“, и т. п. Это содержание приобретает форму, лишь когда оно высказывается, и только таким образом. Оно оформляется языком и в языке...»¹

Однако можно себе представить некоторый смысл, который остается инвариантным при всех трансформациях текста. Этот смысл можно представить как до-текстовое сообщение, реализуемое в тексте. На такой презумпции построена модель «смысл — текст» (см. о ней далее). При этом предполагается, что в идеальном случае информационное содержание не меняется ни качественно, ни в объеме: получатель декодирует текст и получает исходное сообщение. Опять текст выступает лишь как «техническая упаковка» сообщения, в котором заинтересован получатель.

За таким взглядом на работу семиотического механизма стоит убеждение в том, что целью его является адекватная передача некоторого сообщения. Система работает «хорошо», если сообщение, полученное адресатом, полностью идентично отправленному адресантом, и «плохо», если между этими текстами наличествуют различия. Эти различия квалифицируются как «ошибки», на избежание которых работают специальные механизмы структуры (избыточность, в частности).

¹ Бенвенист Э. Общая лингвистика / Пер. с фр.; ред., коммент. и вступ. ст. Ю. С. Степанова. М., 1974. С. 104–105; ср.: Benveniste È. Problèmes de linguistique générale. [Paris], 1966. P. 63–64.

Убеждение это не беспочвенно: оно указывает на исключительно существенную функцию семиотических структур. Однако нельзя не признать, что стоит нам принять эту функцию за единственную или даже основную, как мы окажемся перед рядом парадоксов.

Если увидеть в адекватности передачи сообщения основной критерий оценки эффективности семиотических систем, то придется признать, что все естественно возникшие языковые структуры устроены в достаточной мере плохо. Для того чтобы достаточно сложное сообщение было воспринято с абсолютной идентичностью, нужны условия, в естественной ситуации практически недостижимые: для этого требуется, чтобы адресант и адресат пользовались полностью идентичными кодами, то есть фактически чтобы они в семиотическом отношении представляли бы как бы удвоенную одну и ту же личность, поскольку код включает не только определенный двумерный набор правил шифровки — дешифровки сообщения, но обладает многомерной иерархией. Даже утверждение, что оба участника коммуникации пользуются одним и тем же естественным языком (английским, русским, эстонским и т. д.), не обеспечивает тождественности кода, так как требуется еще единство языкового опыта, тождественность объема памяти. А к этому следует присоединить единство представлений о норме, языковой референции и прагматике. Если добавить влияние культурной традиции (семиотической памяти культуры) и неизбежную индивидуальность, с которой эта традиция раскрывается тому или иному члену коллектива, то станет очевидно, что совпадение кодов передающего и принимающего в реальности возможно лишь в некоторой весьма относительной степени. Из этого неизбежно вытекает относительность идентичности исходного и полученного текстов. С этой точки

зрения действительно может показаться, что естественный язык плохо выполняет порученную ему работу. О языке поэзии и говорить не приходится.

Таким образом, делается очевидно, что для полной гарантии адекватности переданного и полученного сообщения необходим искусственный (упрощенный) язык и искусственно упрощенные коммуниканты: со строго ограниченным объемом памяти и полным вычеркиванием из семиотической личности ее культурного багажа. Созданный таким образом механизм сможет обслужить лишь ограниченный круг семиотических потребностей; универсализм, присущий естественным языкам, ему будет в принципе чужд.

Можно ли считать, что эта искусственная модель должна считаться образцом языка как такового, его идеалом, от которого он отличается лишь несовершенством — естественным результатом «неразумного» творчества Природы? Искусственные языки моделируют не язык как таковой, а одну из его функций — способность к адекватной передаче сообщения, ибо, достигая совершенства в ее реализации, семиотические структуры утрачивают способность обслуживать другие, присущие им в естественном состоянии.

Каковы же эти функции?

Здесь прежде всего следует назвать творческую. Всякая осуществляющая весь набор семиотических возможностей система не только передает готовые сообщения, но и служит генератором новых.

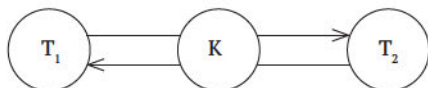
Что же мы будем называть «новыми сообщениями»? Прежде всего договоримся, что мы *не будем* их так называть. Сообщения, полученные из некоторых исходных в результате однозначных преобразований, то есть сообщения, являющиеся плодом симметричных преобразований исходного (запуская преобразование в обратном порядке, получаем исходный текст),

мы не будем считать новыми. Если перевод с языка L_1 текста T_1 на язык L_2 приводит к появлению текста T_2 такого рода, что при операции обратного перевода мы получаем исходный текст T_1 , то мы не будем считать текст T_2 новым по отношению к T_1 . Так, с этой точки зрения правильное решение математических задач новых текстов не создает. Здесь можно вспомнить положение Л. Витгенштейна, согласно которому в пределах логики нельзя сказать ничего нового.

Полярную противоположность искусственным языкам представляют семиотические системы, в которых креативная функция наиболее сильна: очевидно, что если самое посредственное стихотворение перевести на другой язык (то есть на язык другой стихотворной системы), то операция обратного перевода не даст исходного текста. Самый факт возможности многократного художественного перевода одного и того же стихотворения различными переводчиками свидетельствует о том, что вместо точного соответствия тексту T_1 в этом случае сопоставлено некоторое пространство. Любой из заполняющих его текстов t_1, t_2, \dots, t_n будет возможной интерпретацией исходного текста. Вместо точного соответствия — одна из возможных интерпретаций, вместо симметричного преобразования — асимметричное, вместо тождества элементов, составляющих T_1 и T_2 , — условная их эквивалентность. При переводе французской поэзии на русский язык задача французского двенадцатисложного силлабического стиха русским шестистопным силлабо-тоническим ямбом представляет собой условность, дань сложившейся традиции. Однако в принципе возможен и перевод французской силлабики с помощью русской силлабики. Переводчик оказывается перед необходимостью *сделать* выбор. Еще бо́льшая неопределенность возникает, например, при трансформации романа в кинофильм.

Возникающий в этих случаях текст мы будем рассматривать как новый, а создающий его акт перевода — как творческий.

Схему адекватной передачи текста при пользовании искусственным языком можно представить в следующем виде:

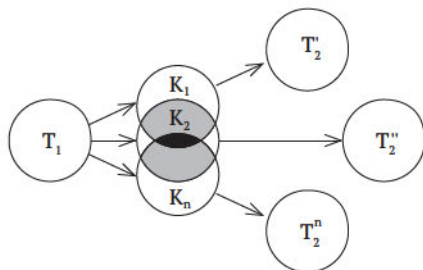


Здесь передающий и принимающий пользуются единым кодом К.

Схема художественного перевода показывает, что передающий и принимающий пользуются различными кодами K_1 и K_2 , пересекающимися, но не идентичными. В случае обратного перевода это даст не исходный, а некоторый третий текст T_3 . Еще ближе к реальному процессу циркуляции сообщений случай, когда перед передающим оказывается не один код, а некоторое множественное пространство кодов k_1, k_2, \dots, k_n , каждый из которых — сложное иерархическое устройство и допускает порождение некоторого множества текстов, в равной мере ему соответствующих. Асимметрическая направленность, постоянная потребность выбора делают в этом случае перевод актом порождения новой информации и реализуют творческую функцию как языка, так и текста.

Особенно показательна ситуация, когда между кодами существует не просто различие, а ситуация взаимной непереводаемости (например, при переводе словесного текста в иконический). Перевод осуществляется с помощью принятой в данной культуре условной системы эквивалентностей. Так, например, при передаче словесного текста живописным (например, картина на евангельский сюжет) пространство темы будет в кодах пересекаться, а пространства языка и сти-

ля — лишь условно соотноситься в пределах данной традиции. Комбинация переводимости — неперево- димости (с разной степенью того и другого) определяет креативную функцию.



Поскольку смыслом в данном случае оказывается не только тот инвариантный остаток, который сохраняется при разнообразных трансформационных операциях, но и то, что при этом изменяется, мы можем констатировать приращение смысла текста в процессе этих трансформаций.

Следует отметить еще одну особенность. При пользовании искусственными языками (или естественным и поэтическим языками как искусственными, например передавая роман Толстого краткой аннотацией сюжета) мы отделяем смысл от языка. При сложных операциях смыслопорождения язык неотделим от выражаемого им содержания. В этом последнем случае мы имеем уже не только сообщение на языке, но и сообщение о языке, сообщение, в котором интерес перемещается на его язык. Это и есть та направленность сообщения на код, в которой Р. О. Якобсон видел основной признак художественного текста.

В этом случае многие явления парадоксально перемещаются. Так, например, при ориентации на константность сообщения тот факт, что язык предшествует сообщению на нем и заранее дан обоим участникам

коммуникации, представляется настолько естественным, что специально не оговаривается; даже в сложных случаях получатель сначала по каким-либо сигналам опознает, каким из известных ему кодов зашифровано сообщение, а затем уже приступает к «чтению». Когда герои романа Ж. Верна «Дети капитана Гранта» извлекли из бутылки три фрагмента документа, они прежде всего установили, что один из них написан на английском, другой на немецком, третий на французском языках, а потом уже занялись реконструкцией смысла разрушенного документа.

Во втором случае возможен противоположный порядок: сначала дан документ, а затем уже реконструируется его язык. Такой порядок вполне обычен, когда мы получаем в руки обломок далекой от нас культуры. Речь может идти не только о словесных текстах на неизвестных языках, но и о вырванных из контекстов памятниках искусства и материальной культуры, функции и смысл которых археологу предстоит реконструировать. Еще более обычен этот случай в истории искусства, так как всякое новаторское художественное произведение является *sui generis* произведением на неизвестном аудитории языке, который еще должен быть реконструирован и усвоен адресатами. Возможность такого «самообучения» адресата обуславливается, во-первых, тем, что в любом, даже предельно индивидуализированном, языке не все индивидуально: неизбежно наличествуют уровни, общие для обоих участников коммуникации, служащие базой для реконструкции. Во-вторых, это «индивидуальное» и новое неизбежно стоит на определенной традиции, память о которой актуализована в тексте. Наконец, в-третьих, язык искусства неизбежно гетерогенен и, предельно удаляясь от полюса мета- и искусственных языков, он — парадоксально — обязательно включает элемен-

ты рефлексии над собой, то есть метаязыковые структуры. Опыт европейского авангарда убедительно свидетельствует, что чем индивидуальнее художественный язык, тем более места занимает авторская рефлексия, направленная на язык и включенная в его же структуру. Текст сознательно превращается в урок языка.

Итак, спектр текстов, заполняющих пространство культуры, нам рисуется как расположенный на оси, полюса которой образуют искусственные языки, с одной стороны, и художественные — с другой. Остальные помещаются на разных точках оси, тяготея то к одному, то к другому полюсу. При этом надо иметь в виду, что полюса этой оси — абстракция, не осуществимая в реальных языках: как невозможны искусственные языки без некоторого, хотя бы зачаточного синонимизма и других «поэтических» элементов, так неизбежны метаязыковые тенденции в языках с демонстративной тенденцией к «чистому» поэтизму.

Следует учитывать также, что место текста на названной выше оси подвижно: читающий может оценить соотношение «поэтического» и «информационного» в тексте иначе, чем автор. Когда Асеев пишет:

Я запретил бы «Продажу овса и сена»...
Ведь это пахнет убийством Отца и Сына?¹ —

а зашедший в город крестьянин у Пильняка читает:

«Коммутаторы, аккумуляторы»

как

Ком-му ... таторы, а ... кко-му ... ляторы (<...>²,

то очевидно, что такой текст — вывеска — в первом случае читается как поэтический, а во втором — как пословица; в первом случае незаконномерно высвечи-

¹ Асеев Н. Собр. соч.: В 5 т. М., 1963. Т. 1. С. 50.

² Пильняк Б. Голый год. М.; Л., 1927. С. 125.

вается звуковая сторона, во втором — синтагматика деформируется по законам построения паремии.

Возможность выбора одной из двух позиций за точку отсчета в подходе к языку влечет существенные последствия. В одном случае информационная (в узком смысле) точка зрения представит язык как машину передачи неизменных сообщений, а поэтический язык предстанет как частный и, в общем, странный уголок этой системы. В нем будут видеть лишь естественный язык с наложенными на него добавочными ограничениями и, следовательно, со значительно суженной информационной емкостью.

Однако возможен и другой взгляд, также неоднократно демонстрировавшийся в лингвистике: творческая функция будет рассматриваться в качестве универсального свойства языка, а поэтический язык — в качестве наиболее представительной демонстрации языка как такового. Именно противостоящие ему семиотические модели окажутся тогда частной областью языкового пространства.

С этой точки зрения исключительно интересен исторический «спор» между гениальными лингвистами Ф. Соссюром и Р. О. Якобсоном.

Соссюр отчетливо представлял себе именно первую функцию как главный принцип языка. Отсюда четкость его оппозиций, подчеркивание универсального значения принципа условности в связи означаемого и означающего и т. д. А за ним рисуется культура XIX в. с ее верой в позитивную науку, убеждением, что понимание есть благо, а непонимание — абсолютное зло, с всеобщей грамотностью, романами Золя и Гонкуров. Р. О. Якобсон был и оставался человеком авангардистской культуры, его первая книга «Новейшая русская поэзия. набросок первый» (1921) явилась как бы блистательным прологом всей его научной деятельности. Язык Хлебникова, язык русских футури-

Содержание

Введение	5
----------------	---

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Текст как смыслопорождающее устройство

Три функции текста	17
Автокоммуникация: «Я» и «Другой» как адресаты (О двух моделях коммуникации в системе культуры) ...	31
Риторика — механизм смыслопорождения	56
Иконическая риторика	88
Текст в процессе движения: автор — аудитория, замысел — текст	103
Символ — «ген сюжета»	134
Символ в системе культуры	167

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Семиосфера

Семиотическое пространство	187
Понятие границы	200
Механизмы диалога	221
Семиосфера и проблема сюжета	236
Символические пространства	273
Некоторые итоги	338

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Память культуры. История и семиотика

Проблема исторического факта	343
Исторические закономерности и структура текста	350
Альтернативный вариант: бесписьменная культура или культура до культуры?	394
О роли типологических символов в истории культуры	409
Возможна ли историческая наука и в чем ее функция в системе культуры?	435
Заключение	442